З. ГИППИУС

Меч и крест

> ...Ученики Его Иаков и Иоанн сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?
>
> Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа;
>
> Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать.
>
> *Лк. 9: 54, 55, 56*

Можно ли сейчас писать философически-отвлеченно о силе — насилии, убийстве, казни? И. А. Ильин думает, что можно, и пишет. Но нелегко следовать за ним в беспросветные дебри рассуждений. Если у каждого пальцы бурые и липнут, чьей-нибудь кровью замараны — своей или чужой, — как рассуждать о крови «вообще», о том, когда и чью лучше проливать?

Быть может, это лишь ощущение, и вопрос о силе — насилии, об убийстве, поднять все-таки нужно. Я только против внешней, чисто рассудительной манеры Ильина. От нее, от ее тона и даже от постоянных повторений: «Христос, Христос, молитва. Бог» — веет чем-то мертвенно-злым...

Какой Христос? Какая молитва? Какой Бог? Не Ягве ли, никакого Сына не знающий, одинокий Бог кровей?

Или — кто?

* * *

Вот первое впечатление от «христианской» книги «Сопротивление злу силой». Насколько оно основательно — увидим далее.

Я, впрочем, не ставлю себе задачей последовательно разбирать книгу Ильина. Я просто хочу высказать о ней или около нее то, что хочу, относительно вопросов, над которыми пришлось мне думать в продолжение долгих лет.

Попутно выяснятся и наши согласия и расхождения с православным защитником «силы». Даже не защитником: мы вправе, пожалуй, назвать его *проповедником* силы—насилия...

* * *

Я начинаю с вопроса главного и, выделив его из всего прочего, ставлю так прямо, как он обыкновенно и ставится: «Можно или нельзя убить?»

Вряд ли нужно отговариваться, что вопрос этот существует — *как вопрос* — лишь там, где начинается духовный, идейный порядок. Или даже «религиозный» (в самом широком и общем понимании слова). Человек, абсолютно этому порядку чуждый, — хотя есть ли такой человек? — просто ничего не поймет.

Один убийца мне говорил: «Убить или всегда можно, или никогда нельзя».

Он был прав. По крайней мере в том, что с человечески-религиозной точки зрения — а тем паче, сузив, с христианской — убить никогда нельзя.

Другой, идя на убийство, молился на золотой крест в бледном утреннем небе — о чем? Об удаче? Нет, он был христианин; он молился, чтоб наступило время, когда никто никого убивать не будет. И здесь то же: убивать *нельзя*.

В углу, над лампадою, Око сияющее
Глядит, грозя.
Ужель там одно, никогда не прощающее,
Одно — нельзя?
Нельзя! Ведь душа, неисцельно потерянная,
Умрет в крови...

* * *

Первая смерть на земле была человекоубийство, даже братоубийство[1]. Таково начало древнего завета. А начало завета нового — убийство Богочеловека.

Каковы начала, таковы и продолжения. «Нельзя», оставаясь незыблемо во всей силе, со всей силой — и даже сверх силы, — непрерывно преступается.

Каиново племя, вопреки данной Богом заповеди, довело себя до того, что Господь, скрыв свой лик Элоима, благостного Бога-Зиждителя, повернулся к нему ликом Ягве, Бога крови и мщенья.

Но и потомки фарисеев, сделавшись христианами, века жгли, пытали, колесовали — убивали христиан же, все время помня, все время зная, что «нельзя», — как и ветхозаветные братья их это знали.

И всегда все искали что-то понять в этом грехе, искали если не оправданья, то чего-то вроде оправдания... Что находили? Что находят?

* * *

Только одно, что и можно найти. Около этого одного блуждает и автор книги о насилии.

С длинными отступлениями, оговорками, при помощи отвлеченнейших теоретических построений хочет он подойти к оправданию насилия, убийства (и... казни!). Между тем единственная формула, если не оправдывающая убийство в меру желания Ильина, то оправдывающая его возможность, выражается всего тремя словами: «*нельзя и надо*».

Нельзя — но *еще* надо. Никогда нельзя, но *иногда* еще надо. Это не упрощение (хотя напрасно упрощений боится Ильин). Это сводка к сути. Ведь стоит развернуть маленькое слово «надо» (иногда — когда?), и мы сразу попадаем в целое море сложностей.

* * *

«Нельзя» пояснений не требует. Оно просто. Нельзя и нельзя. Но почему, хотя нельзя — надо?

Если, согласно со многими мыслителями, смотреть на мир как на *становящийся*, восходящий к совершенству в процессе борьбы со злом (таков и взгляд Вл. Соловьева), то *принятие* мира (космоса, истории — жизни) в его текучем несовершенстве означает и принятие волевого участия в борьбе.

Путь непротивления злу (отстранения от борьбы), таким образом, с самого начала отвергается. Но на пути борьбы как сказать: вот здесь я борьбу кончаю? С этого момента я злу и злому покоряюсь, из борьбы (из жизни) ухожу? В душе человеческой *могут* столкнуться два «нельзя»: нельзя уйти из борьбы, составить мир злу — и нельзя убить человека. Тогда я преступаю то

«нельзя», где могу погибнуть я сам, в грехе, но не мир, то есть я отдаю в жертву себя — миру.

Этот трагический выбор человек делает один на один с собой, по мере — всегда несовершенного, конечно, — но *своего* разумения. Каждая жизнь человеческая может быть пересечена моментом, когда человек решает, что *надо* убить, хотя *нельзя*.

И убивает*.

* * *

Такова общая схема. Насколько я понимаю Ильина, он хочет что-то вроде нее положить в основу гораздо больше, чем оправданий, — своих «понуждений» к мечу.

Кстати, не этот ли волевой оттенок (оправдание — понуждение) заставляет его избегать прямых слов? Почему, упорно подчеркивая свое «христианство», он уклоняется от слова «грех», называет убийство «негреховной неправедностью» (выраженье какое-то даже «неправославное»)? А насилия в борьбе со злом вовсе будто бы не существует, есть «действие силой».

К этой странной терминологии мы вернемся, а пока есть вопрос поважнее, Ильин на нем не задерживается, точно обходит сторонкой. Но его не обойти, особенно если доказывать необходимость-неизбежность убийства в борьбе со злом. (Мы бы сказали — «возможность».)

Это вопрос — о зле.

* * *

Что такое зло? Где оно? Чем оно определяется? Как его увидеть, настоящее?

---

* Как ни многообразно убийство среди сложностей реальной жизни, каждому (за отстранением животных, сумасшедших и нечаянных) непременно предшествует «нельзя и надо» — хотя бы в виде мгновенной молнии, хотя бы полусознательно или даже совсем бессознательно. Однако от этой единой общей точки есть линия *вверх* и линия *вниз*. Убийством по линии вниз должно назвать всякое убийство *для себя*, т. е. для приобретения чего-нибудь *себе*, и уж все равно, каких благ: почести, власти или денег. И тут действует «нельзя и надо», хотя и может совершенно измельчиться: «нельзя» — как внешнее запрещение, страх наказания, «надо» — как «мне хочется» чего-нибудь, мне выгодно.

В этих заметках я намеренно касаюсь убийства, только лежащего *по линии вверх*. Во-первых, я думаю, что как раз тут завязывается главный узел вопроса; а кроме того, и сам Ильин, о книге которого я говорю, помещает вопрос именно в эту область.

Ильин полагает, что критерий — христианство и что один христианин непременно увидит зло в том же и там же, где другой.

Формально это, конечно, правда. Но... тут есть очень важное «но».

Христианство — удивительная вещь. Оно не поддается обращению с ним, как с древним законом, который прост и ясен, укладывается в общеобязательные правила на все случаи. Христианство, не нарушив закона древнего, облекло его новым *духом* и тем совершенно преобразило. В сверхзаконности этой переплавились все понятия, и ею, в ней, решаются ныне наши «да» и «нет».

Люди «нового духа» будут видеть, конечно, и зло в одном и том же — в меру близости своей этому духу. Но близок ему не всякий, «говорящий Христу: Господи! Господи!», и далек не всякий, кто даже имени Христа не знает.

Не имея этого внутреннего, одного, критерия, люди «иного духа» очень часто разнятся между собою в оценке добра и зла. Где один искренно видит зло, там другой так же искренно его может не видеть. А когда случайно люди старого и нового духа и совпадут во взгляде на зло (это бывает), их совместная с ним борьба, рядом, все равно невозможна. Ибо в зависимости от старого или нового духа, борьба с самого начала принимает то или другое течение, тот или другой образ. Даже внешне сходственные действия будут глубоко разными и к разным приведут результатам.

Поэтому меня интересуют в книге Ильина не теоретические положения и не высокие ее слова, а самое важное: ее дух.

Какого она духа?

* * *

Ничто так не помогает исследованию, как конкретный пример.

У Ильина нет ни имени, ни лиц, о борьбе со злом он говорит «вообще» — у него нет конкретностей. Или есть, но они где-то скрыты за плотным забором из отвлеченно-теоретических далей.

Вот, впрочем, одно подлинное имя подлинного человека. Тут можно кое-что взять в виде примера, и даже поучительного.

На многих страницах Ильин занимается борьбой... с Л. Толстым. О, конечно, с «непротивленством» Толстого. Но если быть внимательным и логичным, можно проследить, как борьба со злом «непротивленства» переходит (и конкретно перешла

бы в конкретную, при других обстоятельствах) в борьбу с самим Толстым. Ведь, по Ильину, «зло только в человеке». Идти против зла — значит идти против человека.

Ведется эта борьба именно так, как должен ее вести любящий «духовно-отрицательной» любовью. Для него Ильиным установлены с самой резкой точностью и в строгой, постепенно нарастающей последовательности 25 общеобязательных правил.

1. Неодобрение.
2. Несочувствие.
3. Огорчение.
4. Выговор.
5. Осуждение.
6. Отказ в содействии.
7. Протест.
8. Обличение.
9. Требование.
10. Настойчивость.
11. Психическое понуждение.
12. Причинение психических страданий.
13. Строгость.
14. Суровость.
15. Негодование.
16. Гнев.
17. Разрыв в общении.
18. Бойкот.
19. Физическое понуждение.
20. Отвращение.
21. Неуважение.
22. Невозможность войти в положение.

И наконец, три последних звена, заключающих эту неразрывную цепь, три меры, которые *необходимо* применяются (если не подействовали предыдущие или если нет времени для предыдущих); их логически Ильин *обязан* был бы применить к Толстому.

23. Пресечение.
24. Безжалостность.
25. *Казнь*.

Есть, положим, еще одно правило для «духовно-любящего»: казня, молиться за казнимого. Но молитву пока оставим. Нам важно установить, что, живи Толстой не при Николае II, а при Ильине, просьба «накинуть мыльную веревку на его старую шею» не осталась бы втуне.

* * *

Скажут: этот пример — гротеск. Почему? Ильин вряд ли захочет признать свои теории заведомо отвлеченными, а не захочет — как же уклониться от признания, что да, казнь Толстого является последовательно-обязательной?

Ведь «ни прощение, ни снисхождение, ни измена теории недопустимы». Если зло, подлежащее уничтожению, оказывается неотделимо от человека — уничтожается человек. А так как, по всем вероятиям, Толстого не вразумили бы никакие предварительные меры, даже «причинение психических страданий», то вывод для «отрицательно-любящего» ясен: пусть повисит старичок, а мы помолимся.

* * *

Это хороший пример, разносторонне поучительный, хотя и «гротеск». Мы его дополним, подчеркнув: все *слова* Ильина о христианстве, его словесные обоснования христианства верны и правильны (хотя так общеизвестны, что удивляешься, зачем понадобилось их произносить тоном «откровения»).

Слова же Толстого о христианстве, все или почти все, особенно в вопросе о непротивлении, и неверны, и неправильны. Ничего нет легче, нежели «вскрыть» противоречивость Толстого и «зло» его непротивленства. Эту легкую задачу Ильин, попутно, выполнил с успехом.

А теперь я спрошу: из них двух, чьи слова, чья воля ближе к *духу* христианства? Не Толстого ли все-таки, которого и «христианином»-то назвать, пожалуй, еще нельзя? За его беспомощными, противоречивыми, спутанными словами стоит если и не лик Христа, то страдание Христово — наверное... А чей голос слышен в «правилах» Ильина до последнего — окончательного? От кого идут эти приказы, эти предписания «любви», которую любящий в самом лучшем случае ощущает как *ревность*, а любимый — всегда как *ненависть*?

Воля такой «любви», ее дух не напоминают ли опять дух ревнивого Бога кровей, Ягве, Сына не знавшего?

Ильин оговаривается: ненависти не должно быть. Не с ненавистью, а с любовью (высшей) надо применять «пресечение, безжалостность, казнь».

Положительно, голое слово — «звук пустой». Чем чаще повторяет Ильин слово «любовь», тем упорнее воспринимается ее звук в значении «ненависти». Не об этой ли Ненависти — с

большой буквы — говорится в одной старой, довольно противной песне? Пять ее строчек мне вдруг пришли на память:

Нет, нет, любовь не даст спасенья,
И нет спасения в любви!
Ты, Ненависть, сомкни плотнее звенья,
Ты, Ненависть, туманы разорви!
Мы взяли в руки Меч: пока они не сгнили...

Дальше не помню. Пока, значит, не сгнили руки, не выпускай меча, люби рубя, руби любя... или ненавидя, что безразлично. Дух от звука не изменится. А дух этой песни и дух обязательных правил и понуждений к мечу Ильина — один и тот же дух.

* * *

Понуждение...

Есть еще одна черта в ильинских писаниях, характерная и, на мой взгляд, немаловажная.

Но сначала устраним бесполезные обходы и оговорки, возвратимся к словам прямым и точным: насилие есть насилие, убийство — убийство, и доказать, что с христианской точки зрения оно не «грех», а какая-то «негреховная неправедность», — нельзя, сколько ни старайся. У Ильина и прямой, понятной формулы «нельзя и надо» — нет: вместо «надо» он говорит «приходится». Как будто смягчает, но какое уж смягчение, когда это негреховное действие совершать «приходится» — обязательно!

Не в рекомендации обязательности, впрочем, дело. Не в деталях, а в главном: с новым духом несовместима, для него нестерпима всякая рекомендация *убийства*. Все рассуждения, старания убедить другого в необходимости убивать, всякая проповедь смертоубийства, *понуждение* к нему есть действие недопустимое и в той плоскости, куда помещает Ильин, называется *греховным*.

Человек, знающий о «нельзя» (нельзя убить) может решиться на пре-ступление этой черты только сам; в себе, за себя решает сам — один, как сам — один умирает. Сам берет и грех, и ответ; сам, вольно, кладет душу свою, не «сохраняет». И за что, во имя чего, когда *надо* положить душу, тоже решает сам — один.

Как сметь толкнуть другого на преступление и на жертву? Как *сказать* другому: иди на свою душевную погибель, ты обя-

зан, иного пути нет? Как посылать на убийство, предписывать его, понуждать к нему?

То, что говорил людям Толстой, — пусть и не верно, и не реально, пусть даже вредно: но это *можно* говорить другим. А есть слова, на которые никто не имеет ни божеского, ни человеческого права.

...Пусть сердце угрюмое, всеми оставленное
Со мной молчит.
Я знаю, какое сомнение расплавленное
В тебе горит.

Законы Господние дерзко пытающему
Один ответ:
Черту заповедную преступающему
Возврата нет.

. . . . . .

Нельзя! Ведь душа неисцельно потерянная,
Умрет в крови.
И — надо! Твердит глубина неизмеренная
Твоей любви.

. . . . . .

В измене обету, никем не развязанному,
Предел скорбей.
И все-таки сделай по слову *не сказанному*
Иди...

Вот это, навсегда «не сказанное», последнее слово «*убей*» с легкомысленной авторитетностью Ильин и твердит на все лады «всем, всем, всем».

Как деревянным молотком стучит: пресеченье — безжалостность — казнь, безжалостность — понужденье — казнь — казнь — казнь... ты обязан — должен — бери меч — иди — иди...

Но не поймет, почему говорить этого *нельзя* (и уж без всякого *надо*), написавший книгу о насилии. Чтобы понять, нужно быть «иного духа», того, в котором *по-новому* открылись для нас вечные ценности.

Вот две неведомые Ильину: первая — Человек (Личность) и вторая — Свобода.

* * *

Возвратимся ко «злу» и борьбе с ним.

Ильин утверждает обязанность каждого бороться со злом по правилам, им начертанным, вплоть до казни.

Представим себе второго Ильина: он совершенно так же утверждает ту же обязанность и те же правила.

Но внутреннего критерия для распознавания зла у них одинаково нет: оба — «не того духа». Поэтому взгляд на зло у них может не только не совпасть, а даже противопоставиться: первый Ильин будет видеть зло во втором, второй — в первом.

Тогда борьба со злом делается для них борьбой друг с другом.

Подобные во всем, в воле и духе, исповедуя безжалостно те же неотступимые законы, они находятся в *равенстве противостояния*.

Во что выльется борьба этих двух со злом, т. е. друг с другом? Кто кого победит?

Или, уточнив и сузив вопрос: кто кого казнит? Первый второго? Второй первого?

Это в каждый данный момент будет решаться преобладанием голой физической силы. Сегодня физическая сила на стороне первого или первых — казнят они; завтра этой силы окажется больше у вторых — казнены будут первые.

А так как физические силы при духовно-идейном равенстве противостояния — дело случайное, то никакого результата, кроме перемежающегося успеха — ряда казней то одних, то других, — подобная борьба иметь не может.

* * *

Круг, из которого нельзя вырваться. Дурная бесконечность. Ну, а если ошибаются не оба? Если один из противников действительно носит в себе зло и другой попал верно?

Никто не изменится и в этом случае. Меняет действительность, сводит ее с мертвой точки, разрывает круг только *новый дух*. Соприкасаясь с материей, лишь он дает времени движение (превращает «durée» в «temps» [2], по Бергсону [3]).

Борьба даже с действительным злом, но вне духа нового, бессмысленна, ибо круговращательное взаимоистребление не только не наносит злу ущерба — оно его умножает.

Если же действия, по духу и смыслу одинаковые, сопровождаются не одинаковыми, а разными словами, — это ли важно?

Так мало значат слова, что легче легкого, например, переделать книгу Ильина «от лица» его противника, любого, только принимающего, конечно, его общую теорию и частные «правила».

* * *

Мы и сами порою не подозреваем, какие глубокие произошли в нас перемены. Не в сознании — так в крови; но мы их в себе уже носим.

Разве по-старому звучит теперь «нельзя» (нельзя убить), хотя и было оно в древнем законе? И разве не исполнилось нового трагизма внутреннее повеление «надо», надо преступить, положить душу?

Опять вспоминается мне убийца, что молится на золотой крест в белом утреннем небе. Он знал, что

Тайна есть великая, запретная:
Солнцу кровь не велено показывать...

Знал и молился не об «удаче» — об этом нельзя молиться, — но чтобы скорее наступило время, когда никому не надо будет поднимать на плечи тот тяжелый крест, который поднял он... ради свободы других.

Ильин произносит много банальных справедливостей о христианстве. Знаю, что он непременно казнил бы *этого* христианина, с молитвой. Но знаю также, что ему никакие ильинские молитвы не нужны.

* * *

Меняемся не только мы, <но и> наше внутреннее отношение к жизни, наш дух: он по мере своего роста изменяет и внешние формы жизни, изменяет реальность. Но в ней перемены происходят так медленно, так неуследимо, с таким кажущимся запозданием, что мы то и дело впадаем в ошибки: вдруг, упреждая и насилуя время (течение истории во времени), мы начинаем разрушать еще не вполне изжитую в реальности форму. Гораздо хуже другая ошибка: насилие над временем *в обратную сторону* (Вейнингер[4] называл это, то есть утверждение действительно отошедших в прошлое форм как живых и настоящих, безнравственностью). Такая ошибка предполагает слепоту и к внутреннему процессу, слепоту, которой как раз страдает Ильин.

Что касается Толстого — он просто не считался вовсе с процессом истории, а только с процессом своей логики. Взяв «убийство» в понятии его последней сущности (нельзя), ее и утвердил

на все времена, логически спустив нить до отрицания борьбы (даже — с мухами! *).

* * *

Убийство входит во многие формы жизненной борьбы *как возможность*.

Как *непременность* — оно уже выпадает из понятия «борьба», становится самоцелью и может быть названо максимумом убийства.

Очень характерно, что Ильин не делает различия между убийством — возможностью (в борьбе) и убийством — непременностью (обнаженный максимум). Внутренне разного отношения к ним он не имеет.

Мы увидим это, если остановимся здесь на некоторых конкретных формах борьбы и жизни, и прежде всего на вопросе, близко нашей темы касающемся и остро волнующем современное сознание, — на вопросе *о войне*.

Ильин и Толстой оба рассматривают войну с «христианской» — как они говорят — точки зрения. И оба приходят к совершенно противоположным выводам.

* * *

Коллективное убийство! — говорит Толстой. То, чего «нельзя» никогда: ни прежде, ни теперь, ни потом. Ибо сказано: любите врагов ваших, не противьтесь злому и т. д.

Ильин, чтобы обосновать свои обратные утверждения, приводит другие тексты. Ведь для него христианство — тоже «закон», немного туманными линиями очерченный, правда. Нажать, крепче определить эти линии Ильин и стремится, когда подыскивает нужные тексты.

Перелицовка понятий и слов при этом неизбежна. Оттого у Ильина в широком круге «борьбы со злом» насилие оказывается уж не насилием, грех называется не грехом; а для «врагов» пришлось ему изобрести особую любовь — «отрицательную», которая узаконяет убийство во всех видах, и даже с молитвой. Впрочем, молитва необязательна, так как сам разящий «меч» назван «молитвой»...

---

* В его дневнике: «Я победил мух!» Т. е. победил свое желание бороться с мухами, отгонять их, когда они ему мешали работать.

Спор между Ильиным и Толстым бесплоден, безвыходен. Попробуем призвать на помощь третьего современного христианина, но уже действительного, причастие которого к христианству и вообще к «новому духу» никем не оспаривается (случай крайне редкий). Приводимые ниже слова из одной его небольшой статьи есть прямой ответ и Толстому, и, главное, Ильину. Тут же мы найдем кое-что разрешающее и наши сомнения по вопросу о войне.

* * *

Это — статья-письмо Влад. Соловьева об исторических судьбах Испании[5].

Основной взгляд Вл. Соловьева на историю как на всечеловеческий путь *восхождения во времени* известен*.

Но путь этот не легок и не прям: он с заворотами, с петлями, с провалами. В статье о судьбах Испании Соловьев указывает на ее срыв в «тройную измену христианству», в «адское дело палачества» — инквизицию, после долгого периода «*христиански-праведной*» борьбы, которую она вела с оружием в руках.

«Как? — прерывает себя Соловьев. — Военные подвиги были подвигами христианскими? А слова Христа — кто подымет меч и т. д.? А слова о любви к врагам, о непротивлении злому? Эти слова известны всем, но, по-видимому, не все помнят правило для понимания этих и всяких других евангельских слов, правило, данное, однако, тем же Христом: “Слова Мои суть дух и жизнь”. А из этого правила ясно, что повторять букву того или другого текста еще не значит выражать его истинный смысл. Если же проникнуться этим смыслом, то понятна станет и следующая истина, которая, казалось бы, ясна, как Божий день... Вот она: можно допускать употребление человеком оружия, нисколько при этом не изменяя духу Христову, а, напротив, одушевляясь им, — и точно так же можно на словах и на деле безусловно отрицать всякое вооруженное действие и в самом этом отрицании бессознательно и даже сознательно изменять

* Единственный, кстати, взгляд, который объясняет нашу неумирающую *волю* к «борьбе со злом». Без воли к борьбе и воли в борьбе — вообще нет борьбы. Но воля в борьбе — не что иное, как вера в победу, притом окончательную. Первичное, природное, ощущение «зла» — это чего-то мешающего жизни, портящего жизнь, задерживающего ее движение (по линии вверх?). Но так же природно ощущаем мы и возможность полной над ним победы, находим ту волю-веру, без которой невозможен был бы сам факт борьбы.

духу Христову и отчуждаться от него. Люди, верные этому духу, руководятся в своих действиях не каким-нибудь внешним, хотя бы по букве и евангельским, предписанием, а внутреннею оценкою, по совести, данного жизненного положения».

Это — отповедь (и какая ясная!) тем, кто не новый *дух*, а закон видит в христианстве и с беспомощным упорством пытается заключить его в «правила» на все случаи жизни. А вот что Соловьев говорит дальше — о насилии, войне, убийстве и различии его форм.

«Как бы мне яснее обозначить и определить тот узкий, но единственно надежный мост, которым должно идти человечество между двумя безднами, — мост к истинному и могучему добру между бездною мертвого и мертвящего “непротивления злу”, с одной стороны, и бездною злого и также мертвящего насилия, с другой? Где проходит черта, которая отделяет принуждение, как подвиг самопожертвования за других, от насилия, как неправды и злодейства? *Есть* же эта черта...»

Вопрос, вплотную подходящий к темам ильинской книги. Где же, в чем же эта черта?

Она будет нам показана, и с большой резкостью.

* * *

«Прежде чем давать ей логические определения, — говорит Соловьев, — обратимся к совести». К обыкновенной *совести* человека — «независимо от *религиозных** убеждений», — и спросим: чувствует ли он действительное «нравственное негодование» к подвижнику, «когда он благословляет и одобряет воинов, идущих освобождать отеческую землю от рабства?» Сможет ли «*совесть*» назвать и благословляющего, и этих воинов «злодеями»?

Нет; «совесть» этого не сможет. А между тем — говорит далее Соловьев — убийство и человек, совершающий его «как уполномоченный от общества», вызывают в нас уж не «нравственное негодование, а прямо нравственное *отвращение*, смешанную с ужасом гадливость».

Соловьев иллюстрирует яркими примерами «эту странную, но несомненную противоположность в нашем отношении к двум *убийцам*». Откуда она?

А вот откуда: «Воин и палач, производя одинаковые факты, совершают различные, до противоположности, *дела*».

---

* Везде курсив подлинника.

Следует объяснение, удивительное по своей точности. Если б мы так непростительно, так непонятно не забыли Соловьева, мне не нужно было бы приводить всех этих цитат и давно были бы разрешены очень многие из наших сомнений; Ильин же постыдился бы, конечно, выступать перед нами со своими новыми «христианскими правилами»...

Но простые, точные, нужные определения Соловьева забыты; я о них напоминаю:

«Отнятие человеческой жизни (убийство) вообще не входит непременно в намерение воина, не есть его настоящее дело, и, конечно, мы уважаем военную доблесть не за совершаемые на войне убийства...». «Их может и вовсе не оказаться, а доблесть и уважение к ней останутся те же...». «Цель войны — безопасность. Если этой цели можно достигнуть без грубого насилия, — тем лучше. Неприятеля, положившего оружие, не убивают. Напротив, самое назначение палача именно в том, чтобы отнимать жизнь — казнить, — иначе дело его не исполнено. Палач убивает обезоруженного *. Здесь прямая цель — убийство».

И единственная, прибавим. В казнь убийство не входит в виде менее или более вероятной возможности, как оно входит в войну и в другие сложные формы борьбы. Благословение на войну не есть благословение на *убийство*. Но благословение на казнь, понуждение к ней есть именно понуждение к убийству, голому убийству — максимум — в его самоцельности.

Соловьев продолжает параллель, углубляя понятия: «Воин не отрицает никаких человеческих прав неприятеля. Война предполагает *деятельную* силу с обеих сторон, они равноправны (борьба), и человеческое достоинство не оскорблено ни в ком. В казни, напротив, палачу предоставляется никому не принадлежащее право распоряжаться чужой личностью как бездушным предметом. Итак, все дело в том, что отношение воина к неприятелю, при всех своих аномалиях, бедствиях войны, остается все-таки на почве естественных, нравственных, человеческих отношений, тогда как отношение палача к жертве *по существу* безнравственно, бесчеловечно и противоестественно... Вот ясная и непреложная грань между дозволенным и недозволенным. Этой черты не сотрут никакие софизмы».

---

* С одной точки зрения, «кремлевцы», если бы даже дело убийства Николая II с семьей было их единственным делом подобного рода, должны быть названы именно «палачами», просто в смысле точного их определения.

Этой черты Ильин и не стирает: он попросту ее *не видит*. Спокойно подыскивает тексты — «буквы закона», — перевертывает понятия, отнимая у них собственные имена, или произвольным сочетанием слов уничтожает ценность («отрицательная любовь») — все для оправдания убийства до его максимума включительно. Он с какой-то, если можно так выразиться, естественной противоестественностью равняет «честное насилие воина» с «бесчестным насилием палача», даже не заметив «противоположности их дел».

В неразрывной цепи «строго последовательных» правил казнь — лишь одно из звеньев. Она, конечно, не более греховная неправедность для Ильина, чем действие военное. А уж по сравнению с тем убийцей, который шел «душу положить» за чужую свободу, палач, пожалуй, и совсем праведник.

Приверженный «закону», Ильин просмотрел, однако, «закон правды, корень всех человеческих прав и отношений», который Вл. Соловьев от «нового» духа определяет так: «Уважай в своем и во всяком другом лице человеческое достоинство и ни из какого человеческого существа никогда не делай страдательного орудия внешней ему цели».

Но можно ли уважать что-либо в «лице» человеческом, ничего не зная об этом «лице», о человеке — личности? Можно ли увидеть черту, отделяющую *еще* живое от *уже* мертвого, не услышать даже, что «нельзя», «не убий» — по-иному звучат теперь, по-новому, не так, как звучали для древних?

* * *

Да, не так.

Углубив наше отношение ко многому, — между прочим, к убийству, — мы уже и к войне относимся не совсем по-прежнему. Последняя европейская война это особенно подчеркнула.

«Самая ужасная» война... Объективно самая ужасная — или *для нас* была она такой? Пожалуй, среди не только древних, но даже позднейших европейских войн многие окажутся «ужаснее», если рассматривать их вне исторической линии. Но какая возбуждала столько сомнений, столько новых ощущений и мыслей? Когда говорилось с нашей неотвязчивой страстностью о «целях» войны? А настойчивость, с которой искали ее «виновника», первого «поднявшего меч»? И все страны, не выключая и Германии, с равным негодованием отвергали эту «виновность», все заявляли, что для них «цель войны — безопасность»...

Средневековый Вл. Соловьев, конечно, не стал бы и писать, объяснять, что главное в войне — цель, что цель — не убийство и что война, с ее громадными возможностями убийства («нельзя»), все-таки может быть подвигом («надо»). Не пришло бы в голову тогдашнему Соловьеву отвечать на то, о чем никто не спрашивал. Это зналось — в меру своего времени — так, как было нужно. Нам, в меру нашего времени, нужно знать иначе — яснее, определеннее.

Узор современного отношения к войне сложен. В него ввиваются новые нити. И кажется, определения Соловьева дают самую точную меру того, что мы о войне можем думать и как должны к ней, реальной, относиться в соответствии с «мерой возраста» нашего духа.

Ильину все-таки приходится считаться с современностью: ведь, понуждая к бою и казни, он ищет доводы в их пользу, ищет их «оправдать». Ему самому эти оправдания не нужны. Совершенно так же, как были бы не нужны, если б веков 30 тому назад он звал на войну с моавитянами[6] или делал приготовления к всенародному перепиливанию пленных филистимлян[7] тупыми пилами.

Справедливость требует прибавить, что Ильин, в те времена перенесенный, имеет полное право обойтись без оправданий.

Кто-то сказал: «Нет ничего таинственнее законов истории». Да, и потому нет ничего труднее, как «узнавать лицо своих времен».

* * *

А теперь пора поговорить начистоту.

Пора заглянуть в книгу Ильина подальше, за тот забор, который он выстроил из философических палей. Не так уж плотен и непроницаем этот забор.

Искушенный читатель им не обманется. Меня, например, не изумило даже внезапное появление — к концу книги — Царя. Откуда бы, казалось, взяться обыкновеннейшему царю в отвлеченно-философском трактате? Да еще с полной естественностью, как будто конкретный царь там пребывал с самого начала.

Он и пребывал. Ибо книга «О сопротивлении злу» — книга *политическая*. Психо-религиозно-философские рассуждения служат лишь прикрытием определенной политической идеи, даже тактики и практики, с определенными, в определенную сторону направленными политическими целями.

На что же понадобились прикрытия?

Может быть, и это своего рода тактический прием. Русский человек любит пофилософствовать. Склонность «русских мальчиков» к отвлеченным рассуждениям под трактирную «Лючию» давно подмечена Достоевским. И кушанье, поданное под философским соусом, легче и незаметнее проглатывается.

Не хотелось бы употреблять слово «пропаганда», но другого нет и приходится сказать: нарочито выдержанная в подполье пропаганда иной раз действеннее открытой.

Какой-нибудь «русский мальчик» и царя на предпоследней странице проглотит без удивления, если к концу книги он уже незаметно стал чувствовать себя «царским слугой». Не всякого ведь раздражат и тяжелый, дубовый язык (точно не по-русски, точно перевод с иностранного!), и условно торжественная лирика Ильина, и дешевость его философской постройки; а уж наверно радуют — неприхотливых — привычно знакомые православные банальности и привычно высокие слова о доблести, силе, мече... Если совесть все-таки взволнована — ее успокоят заверения, что никакое убийство, никакое палачество не грех, а только разве невинная, негреховная неправедность...

Впрочем, есть в книге Ильина нечто — и довольно страшное, — перед чем может остановиться всякий человек, маломальски внимательный.

* * *

Это страшное — смешанность. Ильин не соединяет, но все *вмешивает* друг в друга.

Религия у него впутана, ввязана в политику. Именно ввязана, а не связана с ней. Коренную, глубокую *связь* между религией и политикой трудно отрицать после Вл. Соловьева; но приуроченье религии (и философии) к известным политическим построениям, прикрыванье очень определенной политики «божественностью» — не связь, а использование религии для политики.

Отсюда и все другие спутыванья-смешивания: справедливое вмешано в недопустимое, человечность — в бесчеловечие, нужное и верное — в вопиющее, слова о Христовом духе — в дух маленькой, острой злобности, молитва — в палачество.

И смесь составлена так, что справедливое и человечное из нее уже невыделимо и не только не побеждает вопиющего и трусливо-мстительного, но само в них разлагается. Призыв к «борьбе со злом» делается гримасой, слова о молитве под виселицей звучат, как богохульство, а торжественное требование

чистоты и высоты любви... от палача похоже на кощунственную, плоскую насмешку.

Тут Ильина покидает и последний дух — дух древнего Ягве, чья «непрестанная ревность пылает, как огонь»; ибо, хотя «чаша в руке Его, и вино кипит в ней, полное смешения»... — оно полно не такого — иного — «смешения».

Но перейдем к полной конкретности: к политической стороне данной книги.

* * *

Под общими рассуждениями о «борьбе со злом» в книге разумеется борьба с «революционизмом», еще у́же — с «коммунизмом» и еще у́же — с русскими большевиками (главными, по мнению Ильина, «революционерами»).

Сузимся и мы и посмотрим, что может выйти из конкретной борьбы «ильинцев» (носителей политической идеи Ильина) с коммунистами.

Центральная политическая идея Ильина — *власть одного над всеми* (автократия).

Центральная политическая идея коммунистов — *власть всех над одним* (охлократия*).

Обе идеи, если угодно, «религиозные», в том широком смысле, в каком всякая идея, по существу, религиозна.

Обе идеи равно и одинаково противны духу новому, для него неприемлемы уже потому, что ни та ни другая не знают главных, в нем открывшихся ценностей: Человека, Личности и Свободы.

Обе идеи, таким образом, находятся в *равенстве противостояния*.

Выше мы уже говорили, что может дать идейное равенство противостояния. Когда оно выливается в реальное столкновение между носителями подобных идей — результат этого столкновения тот же: дурная бесконечность в реальном образе.

На тот же вопрос: кто кого казнит? снова тот же ответ: будут казнить те и другие поочередно, смотря по тому, на чьей стороне в данный момент окажется преобладание физических сил.

Действительность (или жизнь) ни на линию не сдвинется при этом с мертвой точки. В самом деле, казнят ли сегодня

---

* Беру это слово в прямом, настоящем значении, а не в историческом. Коллектив, где уничтожается личность (единый), действительно может быть назван «чернью».

одни, с ругательством, а завтра другие, с молитвой, — что меняет повторяющаяся перемена ролей?

Физическая же сила, ее преобладание — случайность. Физической силой можно, конечно, одолеть, схватить, взять: это дело физики. Но сохранение, закрепление взятого, в подлинном смысле «завоевание» — это уже дело духа. Потому и решает лишь он настоящую *победу*, которая вовсе не есть мгновенное и случайное «одоленье».

* * *

Резюмируем.

Общее утверждение Ильина, что «*сопротивляться злу нужно*», совпадает с правдой.

Частное его утверждение, что «*коммунизм есть зло*», совпало с правдой.

Но это случайные, формальные и — необыкновенно короткие совпадения. Едва мы удлиним: «сопротивляться злу нужно...», прибавив: «силой, насилием», — как совпадение исчезнет. И вовсе не потому, что силы и насилия в борьбе со злом не может быть; напротив, оно там очень может быть; да только понуждающее к нему «нужно...» сказано быть не может.

А что иное, как не случайность, второе верное ильинское утверждение: «коммунизм есть зло»? Не имея необходимого духовного критерия, чтобы различать и определять зло как зло, Ильин не имеет возможности вскрыть и подлинное зло коммунизма. Да и попыток подойти к его природе и существу он не делает: он «злом» его попросту *называет*.

Очень характерно: человека со «злой» волей нужно казнить; почему нужно — это в подробности доказывается; но почему «зла» воля данного человека, почему то, чего он хочет, — «зло», тут объяснений нет. На «зле» Ильин не останавливается. Зло — значит зло.

В иных случаях прибавляет к тому, что уже назвал злом, несколько эпитетов, долженствующих усилить злое впечатление; а то еще прибегает к такому приему: ставит свое зло в аналогию с каким-нибудь злом заведомым или всеми за таковое признаваемым (почему они аналогичны, тоже, конечно, не поясняется). Например, зло «революции» Ильин доказывает посредством нескольких знаков равенства: революция = всеобщее разрушение, революция = смерть и т. п. Смерть и разрушение — зло, значит — революция зло. Вот и все.

Прием простой, но для кого он? Единочувственникам Ильина и это не нужно, а кто хочет размышлять, того ускоренные способы подготовки борьбы с ильинским злом все равно не удовлетворят.

О подлинной же борьбе с подлинным злом, какая может быть речь без твердого, ясного распознавания зла, без понимания того зла, с каким сейчас хочешь бороться? Ведь самая форма борьбы, ее орудия, средства избираются в соответствии с природой и данной реальной формой этого зла. Даже болезнь нельзя победить, борясь с ней вслепую и не выбирая именно для нее годных средств.

Это слишком очевидно, и жаль, что, говоря о книге Ильина, мне приходится повторять такие общие места.

* * *

А самое очевидное — роковая безысходность борьбы ильинцев с коммунистами.

Противники — обратно подобные во всем: в духе в центральных своих идеях, — религиозной и политической («один над всеми» = «все над одним») — и уже не обратно, а прямо подобные в выборе орудий и средств для «победы». Это как если бы две руки, одному и тому же телу принадлежащие, вступили друг с другом в смертный бой.

Не всякую борьбу со злом коммунизма можно назвать борьбой со злом. Если она ведется с политической и религиозной позиции Ильина и единственные плоды ее — дела, которые Соловьев непереступимой чертой отрезал от человеческой совести, то для «духа нового» такая борьба есть сама — *злое дело*.

* * *

Я пишу это не ради обвинения в чем-нибудь автора книги о силе—насилии. Виноват ли человек, сам не знающий, какого он духа?

Вопрос в том, насколько Ильин уже замкнулся в самоуверенности. А если не вполне? Если временами и сам он подозревает неладное в своем христианстве? Тогда ему можно было бы дать немало добрых советов.

Вл. Соловьев для Ильина, в его теперешнем состоянии, бесполезен. Нет, ему надо начинать издалека — вот хотя бы с маленькой, недавно вышедшей книжки П. Иванова «Смирение во Христе» [8].

Трудно представить себе что-нибудь более далекое книге Ильина. Ни барабанных призывов к мечу-молитве, ни высокоторжественных лирических отступлений — ничего этого нет в немудрящих, действительно смиренных сентенциях Иванова. А главное, есть в них начаток духа, противоположного ильинскому.

Не скрою: это — приготовительный класс. Не всем Петр Иванов нужен, не всем даже полезен. Но Ильину, который добрался до последних словесных высот христианства и не ощутил первого веяния его духа, что осталось, как не сойти с голых вершин, не совлечься своей праздной мудрости, не начать с самого начала — со смирения во Христе?

Долог, тяжел, извилист путь от Петра Иванова до Владимира Соловьева, даже до понимания трагического узла «нельзя — и надо». Можно и совсем не дойти, так и утонуть в «смиренности». Но, во-первых, лучше утонуть в ней, чем засохнуть в гордыне Ильина, а во-вторых, все-таки если есть путь — есть и надежда дойти.

Вступи Ильин на этот путь, «отвергни себя» — была бы и для него, хоть малая, надежда достичь иных «видений»: уразуметь, какого «духа» был убийца, молившийся на кресте в небе; понять, во имя чего положил он душу и что значит «положить душу — жизнь»; и увидеть, наконец, в собственной совести черту, отделяющую насилие «честное» от «бесчестного».

Была бы надежда постигнуть внутренне, в безмолвии, что меч может стать подвижническим крестом, но никогда не бывает меч — молитвой.

«Сим победиши» — сказано о кресте.

Оправдана ли вера эта?

Кто подымает меч, зная — памятью или хотя бы сердцем, — что на кресте умер Человек, открывший нам Свободу, только для того она оправдана.